

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СУБЪЕКТ

СОВРЕМЕННАЯ

ЭКОНОМИКА

Том II

Сергей Дегтярев

Сергей Дегтярев

**Экономический субъект. Том
II. Современная экономика**

«Автор»

2026

Дегтярев С.

Экономический субъект. Том II. Современная экономика /
С. Дегтярев — «Автор», 2026

В этом томе автор производит радикальную ревизию всей истории экономической мысли, от меркантилизма до монетаризма.. Автор не просто критикует существующие школы за лицемерие или цинизм, но вскрывает их общий фундаментальный порок: все они являются изощренными оправданиями «обогащения за чужой счет». Кардинальная смена парадигмы заключается в отказе от трудовой теории стоимости, менового подхода и фигуры «homo economicus» как рационального максимизатора. Вместо этого вводится аксиоматика, базирующаяся на категориях запаса, времени его исчерпания и совершенной экономической эффективности.. Раскрытие природы денег составляет центральную часть текста. Это инструмент «порабощения», основанный на доступе к базовым продуктам. Капитализм, в свою очередь, трактуется не как экономическая формация, а как фаза упадка, воспроизводящая условия для извлечения ганартированной прибыли через институты страха, террора и навязывания «нужных» угроз (от финансовых кризисов до пандемий и войн).

© Дегтярев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение	5
Часть III. Современная экономика	28
Введение	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Сергей Дегтярев

Экономический субъект. Том II. Современная экономика

Введение

Все экономические теории, сколько их ни было создано за последние столетия тщеславными профессорами и самодовольными негоциантами, суть лишь более или менее изощрённые оправдания одного и того же позорного факта: *обогащения за чужой счёт*. Они различаются лишь тем, насколько бесстыдно или лицемерно они выдают сие постыдное обстоятельство за естественный закон» или «общественную гармонию».

Марксизм.

Сия теория, при всей своей внешней суровости и критическом пафосе, подобна врачу, который подробно описывает течение болезни, но не выписывает лекарства. Маркс, этот еврейский пророк индустриальной эпохи, совершенно справедливо вскрыл механизм, которым капиталист присваивает прибавочную стоимость рабочего. Но что же он нам оставил? Начертил карту рабства — и тем самым закрепил его в сознании как «научную категорию». Его пролетарий всегда остаётся пролетарием, его капиталист — капиталистом. Даже в грядущем коммунизме, где эксплуатация якобы исчезнет, человек не обретает права на личное процветание, а лишь на убогое «по потребностям», как заключённый в благопристойной тюрьме. Словом, Маркс дал нам не теорию освобождения, а превосходный учебник по эксплуатации, написанный рукой обиженного книжника.

Классическая политэкономия во главе с Адамом Смитом.

Сей шотландский моралист с умилением взирал на «невидимую руку» рынка, которая, как ему казалось, творит общее благо из корысти каждого. Какая трогательная, но совершенная наивность! Смит не желал замечать, что его драгоценный рынок с самого начала предполагает неравенство: один приходит на торжище с амбаром зерна, а другой — лишь с собственным голодным брюхом. Их обмен, разумеется, «взаимовыгоден»: один получает прибыль, другой — возможность не умереть сегодня. О каком «процветании» может идти речь, если сама теория отводит рабочему лишь жалкий прожиточный минимум, необходимый для воспроизводства его же поработанного с рождения потомства?

Возьмём, к примеру, классическую школу в лице Рикардо и отчасти самого Смита. Эти почтенные господа, восседающие ныне на пьедесталах в университетских коридорах, с удивительной беззаботностью делят человечество на три неизменные касты: **землевладельцы, капиталисты и рабочие**. Первые получают ренту, вторые — прибыль, третьи — жалкое прозябание под именем «заработная плата». И что же? Они не только не видят в этом разделении ничего предосудительного — они **настаивают** на нём как на необходимой предпосылке всякого анализа.

Задумайтесь на миг: ведь это деление не выведено из природы человека, не обнаружено в метафизических аксиомах. Оно есть не более чем снимок конкретного исторического состояния — и состояния, прямо скажем, отвратительного. Один владеет землёй потому, что его предки ограбили соседа и сожгли его жилище. Другой владеет капиталом потому, что раньше других догадался запереть источник воды и брать плату. Третий же, ничего не имеющий, вынужден продавать свои руки, спину и время — ибо иначе он просто сдохнет под забором. Но для Смита и Рикардо сия мерзость есть «основание анализа»!

Истинно, если бы какой-нибудь палач вздумал писать учебник анатомии, он тоже, вероятно, объявил бы дыбу естественным продолжением человеческого тела.

Что значит «основание анализа»? Это значит: мы не спрашиваем, землевладелец владеет, а не работает. Мы не спрашиваем, почему капиталист имеет право на прибыль, тогда как рабочий, создавший своим трудом весь продукт, получает лишь долю. Мы просто **узакониваем сложившееся насилие**, даём ему красивое имя — «классовая структура» — и тем самым возводим его в ранг закона природы. О, какая удобная позиция для тех, кто сидит на шее других!

Рабочий, по этой логике, всегда будет рабочим, потому что таков порядок вещей. Его потогонная работа, его согнутая спина, его дырявая крыша — всё это лишь «факторы производства», такие же как уголь и железная руда. И если ему станет чуть лучше — например, он сможет есть мясо два раза в неделю, — то это не признак приближающейся свободы, а лишь повод для экономиста утешиться: «видите, система работает, досталось же».

Но нет, почтеннейший читатель, — **система не работает**. Она употребляет силы большинства, чтобы откормить меньшинство. И называть это «естественным» — значит либо быть обманутым, либо быть обманщиком.

И здесь мы натываемся на поистине зловещий перл тогдашней экономической мысли, на то, что с циничной откровенностью было названо «железным законом заработной платы». Сие изобретение приписывают Лассалю и, в известной переработке, самому Рикардо — и оно заслуживает не столько опровержения, сколько скорбного признания своей, увы, фактической правоты в рамках этой проклятой системы.

Суть закона проста до омерзения: **заработная плата всегда и неизбежно стремится к физическому прожиточному минимуму**. Не к достойному содержанию, не к возможности отложить на старость, не к свободе от ежедневного страха, — а к тому ровно количеству корма, которое необходимо, чтобы рабочий не умер до окончания смены и мог произвести на свет такое же голодное потомство.

Как же работает эта чудовищная пружина? А вот как, и тут я прошу читателя задержать взгляд. Если рабочим по какой-то случайности — например, из-за войны, эпидемии или внезапного приступа совести у хозяина — становится чуть лучше, если их жалкие гроши возрастают на несколько монет, то эти несчастные, повинувшись слепой воле к жизни, начинают плодиться. Ибо что ещё делать животному, которое вдруг ощутило себя в относительной безопасности? Рождаются больше детей, больше ртов, больше рук, ищущих труда. А капиталист лишь потирает свои заgreбушие руки: предложение труда растёт, цена труда, как всякого товара, падает. Зарплата съезжает обратно к своему «естественному» уровню.

Таким образом, **процветание рабочих как класса систематически невозможно**. Это не случайность, не временная неудача, не ошибка управления. Это закон, выкованный из железа самой структуры! Любая попытка рабочих вырваться из своей клетки лишь сильнее затягивает петлю. Чуть лучшее питание, чуть более тёплый угол, чуть меньше побоев — и вот вам уже новое поколение рабов, готовое толкать телегу дальше.

Что же тогда называют «благополучием» в газетах и парламентских речах? Временная aberrация. Статистический сбой. Моргание свечи перед тем, как она погаснет навсегда. Война, чума или кризис — и всё встаёт на свои места: заводы закрыты, дети плачут, а хозяин по-прежнему сидит в своём поместье и рассуждает о «невидимой руке рынка».

И заметьте, почтенный читатель, одну поистине дьявольскую деталь: **этот закон не требует злого умысла**. Капиталисту не нужно заставлять рабочих голодать — достаточно просто ничего не менять. Достаточно платить ту самую рыночную цену, которую якобы диктует спрос и предложение. Достаточно пожать плечами и сказать: «Так сложилось».

Я не знаю, можно ли выдумать более изощрённую, более всепроникающую форму порабощения. Римский раб по крайней мере знал, что он раб, и иногда брался за меч. Наш же

современный работник живёт в сладкой иллюзии, что он «свободный участник рынка труда. И когда его зарплату срезают под видом «оптимизации», он должен искать виноватого в себе, а не в системе. О, какая гениальная конструкция! Поистине, дьявол работал главным экономистом, когда утверждал этот порядок.

И если вы спросите меня, каково единственное рациональное отношение к сему закону, я отвечу: **глубокое, неисцелимое отвращение и понимание, что в рамках этой системы рабочий обречён**. Ибо всякая попытка вырваться лишь подтверждает правило, всякая надежда — лишь отсрочка неизбежного. Железный закон не знает жалости — он знает только — кандалы или голод.

И здесь мы подходим к другому отвратительному виду обогащения — к тому, которое даже классическая школа, при всей своей трусливой угодливости перед властью имущими, была вынуждена назвать своим именем — **рантье**, о том существе, которое богатеет, просто *владея*. Не производя, не трудясь, не рискуя — а лишь предъявляя вексель, выписанный системой порабощения и подписанный насилием предков.

Давид Рикардо, этот трезвый и суровый ум, не удержался от того, чтобы засвидетельствовать истину. Он прямо написал, что **интересы землевладельцев всегда и безусловно противоположны интересам общества**. Враждебны. Антагонистичны. Это вам не безобидная конкуренция фермеров на рынке — это хищник, присосавшийся к телу экономики и высасывающий из него соки.

Как же устроен этот позорный промысел? Землевладелец не пашет, не сеет, не куёт. Он вообще ничего не делает, кроме одного — он **владеет** кусок земли. А поскольку земли не становится больше, а людей, желающих на ней работать, становится всё больше (ибо таков железный закон размножения голодных), то цена за доступ к этой земле — рента — неуклонно растёт. Кто же платит за этот рост? Платит предприниматель, арендующий землю для фабрики или фермы: его прибыль сжимается, как шагреневая кожа, ибо каждый лишний шиллинг ренты отнимает у него кусок хлеба и для себя, и для нанятых рабочих. Если же владелец капиталист, то платит только рабочий: ибо капиталист, чья прибыль урезана, непременно вычтет недостающее из жалованья тех, кто крутит ручки на станках.

Таким образом, перед нами изящная, но чудовищная конструкция: **обогащение одной группы за счёт двух других**. Землевладелец тучнеет, как жирный паук, в то время как предприниматель вынужден закручивать гайки, а рабочий — затягивать пояс. Причём землевладелец не приносит ни малейшей пользы: он не управляет производством, он не изобретает механизмов, он не рискует деньгами. Он просто *есть*. Его заслуга — лишь в том, что его дедушка вовремя отнял этот участок у соседа или получил его в дар от короля за убийство язычников.

И что самое чудовищное — **эта доля закреплена в «научной» теории**. Рикардо не говорит: «давайте её отменим». Он говорит: «она существует, и мы её учитываем в анализе». Он встраивает кровососа в таблицу учёта, как будто это такой же фактор производства, как солнце или дождь. Никакого возмущения, никакого проклятия — лишь холодное признание: «да, интересы землевладельцев противоположны интересам общества, но мы не можем ничего поделать, такова жизнь».

Как же это напоминает средневековую схоластику, которая доказывала, что блохи на теле грешника — это божественное наказание, и их не следует выводить! Аналогия прямая: землевладелец — это блоха. Он сосёт, он раздувается, он передаёт своё право на сосание по наследству. И экономическая теория, вместо того чтобы предложить средства для уничтожения этой блохи, лишь уточняет, с какой силой и в каком месте нужно учитывать этот укус.

Я позволю себе воскликнуть: всякий, кто владеет ресурсом, не трудясь, и живёт на ренту, есть не член общества, а его опухоль. И любая теория, которая принимает такое положение как «базовую структуру анализа», сама есть орудие этой опухоли. Рикардо по крайней мере был честен — он не назвал добром то, что есть зло. Но этого так мало! Честности недостаточно.

Нужно ещё и мужество, чтобы сказать: **такой порядок не может быть вечным, ибо он есть прямое отрицание всякой справедливости.**

В мире, где один человек сидит на мешке с зерном, а два других сражаются за зерна, выпавшие из этого мешка, — в таком мире эти двое рано или поздно возьмутся за вилы. И тогда теория опозорится. Как, впрочем, позорится она всегда.

Модная ныне неоклассика — этот триумф математического идиотизма.

Там, где Смит ещё имел неловкость говорить о классах, его позднейшие эпигоны просто вынесли проблему за скобки. Они изобрели «изначальную наделённость ресурсами» — словно эта наделённость упала с неба, а не добыта огнём и мечом, обманом и насилием. Два человека приходят на рынок: один владеет заводом, другой — только своими руками. Теория объявляет их равными, поскольку оба «максимизируют полезность». Какой гениальный трюк! Бедный, продающий свой труд за гроши, делает это «добровольно». И эту сделку, где одна сторона диктует условия другой под угрозой расправы или даже смерти, они именуют «Парето-оптимумом»! Истинно, не зная стыда — вот первая добродетель экономического профессора.

Здесь мы имеем дело с одним из самых сложных и коварных случаев — теорией, которая с невинным лицом младенца постулирует всеобщую гармонию, достигаемую через взаимовыгодный обмен. О, какая сладкая песнь! Какая утешительная сказка для тех, кто сидит на шее у других, и какая надежная смирительная рубашка для тех, кто под ними! Ибо сия теория, подобно искусному фокуснику, прячет всё своё мошенничество в исходных предположениях — туда, куда доверчивый зритель не заглядывает.

Теория начинает свой отсчёт не с рождения мира, не с дележа добычи в ледниковом периоде, а с того мгновения, когда всё *уже поделено*. Она торжественно объявляет своей аксиомой «изначальную наделённость ресурсами» — и ни на миг не задаётся постыдным вопросом: откуда эта наделённость взялась? Один приходит на рынок с полным кошельком, фабрикой, станками и правом отдавать приказы. Другой приходит с пустыми руками, с больной спиной и способностью молча терпеть. Первый владеет капиталом, второй — только своей усталостью. И теория, эта почтенная дама в очках, важно заявляет: их обмен будет «взаимовыгодным» и «оптимальным по Парето».

Какой гениальный трюк! Представьте себе двоих в камере пыток. У одного есть кнут, у другого — только кожа на спине. Первый говорит: «Дай поработай на меня двадцать лет, и я дам тебе хлеба ровно столько, чтобы ты не умер». Второй соглашается, потому что иначе — пытка и смерть. И экономист, захлопнув дверь, записывает в журнал: «Сделка заключена добровольно, обе стороны получили выгоду, налицо Парето-оптимум». Истинно, если бы Пьеро делла Франческа писал «Бичевание Христа», он бы изобразил палача и жертву держащимися за руки в знак согласия.

Но откуда же взялся этот «стартовый endowment»? Теория молчит. Потому что если бы она заговорила, ей пришлось бы сообщить об огораживаниях, когда крестьян сгоняли с земли; о колониализме, когда миллионы убивали на плантациях; о работорговле, когда человека измеряли в фунтах; о бесчисленных войнах, где победитель просто забирал всё. Всё это — предистория «исходного неравенства». Но экономистам до неё нет дела. Они как гости, пришедшие на пир к людоеду: они видят накрытые столы и не спрашивают, откуда мясо.

Теория человеческого капитала.

Когда убожество исходных предпосылок становится слишком очевидным, на сцену вызывается новый актёр — так называемый «человеческий капитал». Эта теория говорит с улыбкой: «Каждый может инвестировать в себя — учиться, тренироваться, развиваться — и процветать!» Сладкая отравка для ушей голодного! Бедный, читая это, думает: ах, вот оно что — я просто недостаточно инвестировал! Мне надо было вместо того, чтобы с двенадцати лет гнуть спину на фабрике, ходить в Оксфорд! Как же я не догадался!

Ибо теория человеческого капитала делает нечто поистине дьявольское: она объясняет бедность как «недостаток инвестиций». А структурный фактор — отсутствие капитала для инвестиций, переданное по наследству от голодных родителей, не имевших даже на угол для учёбы — эта теория просто выносит за скобки. Он исчезает, как исчезает улика, которую подлый следователь прячет в стол. Остаётся лишь один виноватый: сам бедный человек. Он сам оказался слишком ленив, чтобы учиться. Он сам променял образование на работу вместо учебы. Он сам отвечает за то, что «обогащение за его счёт» состоялось.

Какая изумительная подлость! Вор из подворотни ограбил прохожего, а затем объявил, что прохожий сам виноват — надо было быстрее убежать. Хозяин плантации купил раба, а затем упрекает его в том, что тот не выучил греческий. Человеческий капитал — это идеальное оправдание. Ты беден, потому что ты глуп. Ты глуп, потому что не учился. Ты не учился, потому что тебе пришлось работать. А работать ты пошёл потому, что твои родители бедны — обвиняй их. Круг замкнулся. Логика торжествует. Капиталист умывает руки.

Рынок труда и безработица.

Но самый отвратительный, самый циничный перл этой теории — это модель NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), или, по-простому, «естественный уровень безработицы». Сия модель прямо и без стеснения утверждает: для того чтобы цены не росли слишком быстро, необходим определённый, и не маленький, процент людей, которые не могут найти работу. Никакой опечатки, почтенный читатель: **для стабильности экономики необходимо, чтобы часть людей голодала и отчаялась.**

То есть богатство владельцев активов, их защита от инфляции — эта священная корова монетаризма — достигается ценой того, что некоторое количество мужчин и женщин навсегда остаются за бортом. Они — резервная армия труда, как называл её Маркс, но Маркс хотя бы возмущался. А здесь — они **теоретически обоснованная необходимость**. Их нищета не случайность, не брак системы, не временная трудность. Это **стабилизатор**. Это клапан, через который стравливается давление. Это живая плоть, положенная на алтарь финансовой стабильности.

Представьте себе, что какой-нибудь инженер объявил бы, что для устойчивости моста необходимо, чтобы под ним всегда стояли пять челове. Его бы засмеяли. Но когда экономист говорит: «для низкой инфляции нужно, чтобы 5% населения не имели работы и не могли прокормить детей» — ему дают Нобелевскую премию. Таков уровень морали этой науки.

Итак, подведём итог. В этой теории, как в искусно запертом сундуке, скрываются три слоя лжи. Первый слой: исходное неравенство принимается как данность, его происхождение замалчивается. Второй слой: бедность объявляется личной ошибкой, а не структурным положением. Третий слой: безработица возводится в ранг необходимого стабилизатора. Всё вместе образует идеальную идеологию для тех, кто обогащается за чужой счёт, — им не нужно ни насилие, ни даже обман. Им достаточно просто **назвать вещи «правильными» именами**, и система сама начнёт воспроизводить себя, как вечный двигатель обмана. Сама, без кнута — только под звуки лекций в Гарварде и отчётов МВФ.

Честному человеку остаётся лишь одно: отвернуться от этой сладкозвучной лжи и признать, что **гармония через обмен возможна только тогда, когда никто не приходит на рынок с пустыми руками по необходимости**. А до тех пор — это война. Тихая, легитимная, одетая в костюм-тройку и с портфелем, но война. И победитель забирает всё. Как и всегда в истории.

Кейнсианство

Кейнс, казалось бы, ближе всех подошел к идее всеобщего благополучия без эксплуатации, предлагая государству стимулировать спрос и обеспечивать полную занятость. Но и здесь есть нюанс.

Кейнс, по крайней мере, был достаточно умен, чтобы увидеть крах рыночной гармонии. Но какого его решение? Он предложил управлять безработицей, стимулировать спрос через долги, войны и строительство пирамид. Иными словами, он узаконил идею, что часть людей всегда будет служить топливом для костра экономического роста. Его полная занятость — это не свобода от труда, а лишь более аккуратная организованность того же порабощения. Рабочий по-прежнему создаёт прибыль для хозяина, только теперь с государственной гарантией, что его убьют не сегодня.

О, как охотно хватаются за кейнсианство все те, кто не хочет быть ни марксистом, ни либералом! Казалось бы, вот он, мост к всеобщему благополучию без эксплуатации: государство входит в игру, стимулирует спрос, обеспечивает полную занятость, и — о чудо! — колесо перестаёт давить тех, кто под ним. Но увы, почтенный читатель, даже здесь, даже у этого умнейшего из экономистов, кроется тот же самый изъян — только лучше замаскированный, только более пристойно одетый. Кейнс не отменил рабство; он лишь пересадил раба из хлева в тёплую конюшню и выдал ему чистую подстилку. Но цепь осталась.

Кейнсианство, в отличие от утопий, не обещает человеку свободы от труда. Никогда. Обещает оно нечто гораздо более скромное — а именно, что труд всегда найдётся. Что не будет массовой безработицы. Но для чего это делается? Для того, чтобы поддерживать «эффективный спрос» — чтобы кто-то покупал то, что производят заводы. Полная занятость нужна не ради блага рабочего, не ради его досуга, не ради того, чтобы он наконец вздохнул свободно. Полная занятость нужна **ради того, чтобы капиталист не разорился**.

Кейнс решил «парадокс бережливости» — ту досадную загадку, что если все начинают экономить, то все беднеют. Решил он её простым способом: государство должно тратить, тратить и тратить. Печатать деньги, рыть каналы, строить пирамиды, посылать корабли к чёрту на кулички — лишь бы деньги потекли в карманы рабочих и вернулись обратно в кассы фабрикантов. Человек при этом остаётся привязанным к своей необходимости трудиться, как вол к плугу. Только теперь у него есть гарантия, что от плуга его не отвяжут. О, какое освобождение!

Кейнс, с присущей ему честностью, не стеснялся приводить примеры. Он прямо писал: если вы закопаете в землю бутылки с деньгами, а безработным дадите лопаты, чтобы они их откапывали — вы увеличите национальный доход. Потому что люди получают зарплату, пойдут в пивную, и булочник продаст больше хлеба, а булочник купит новую печь, и так далее. Логика безупречна. И совершенно безумна.

Ибо что это значит? Это значит, что **человек может быть порабощён абсурдным трудом** — трудом, который не создаёт никакой ценности, не приближает его к процветанию, не облегчает его участи, а лишь заполняет время между завтраком и ужином. Он копает яму, чтобы другой закопал её обратно. Он строит дорогу, по которой никто не поедет. И всё это — ради одной только цели: чтобы он получил зарплату и потратил её, тем самым создав прибыль хозяину.

В современных реалиях мы видим это во всей красе. «Экономика пузырей» — когда капитал надувает спрос на виртуальные блага, на токсичные активы, на финансовые пирамиды. Сфера услуг сомнительной ценности — когда целые армии людей заняты тем, что перекалывают бумажки с места на место, убеждают купить ненужное, судятся за выдуманные обиды, следят за тем, как другие работают. Военно-промышленный комплекс — когда лучшие умы человечества конструируют способы убивать друг друга эффективнее, и это считается вкладом в ВВП. Везде одна и та же формула: трудись, чтобы трудиться дальше. Ибо потребитель, который перестанет потреблять, — это враг. А потребитель, который начнёт жить на ренту, — это угроза. Поэтому держите их на коротком поводке, Кейнс.

Кейнсианство не меняет фундаментального отношения. Оно его чуть-чуть смягчает, как подушка смягчает удар кувалдой. Капиталист по-прежнему присваивает прибыль. Рабочий по-

прежнему получает зарплату. И — внимание, это важно — относительное неравенство может не только сохраняться, но и расти.

Да, Кейнс сгладил циклические кризисы. Да, Великая депрессия в таком виде больше не повторяется. Но доли национального дохода, идущие труду и капиталу, не выровнялись. А в некоторых странах разрыв между богатыми и бедными только увеличился — при самом активном кейнсианском управлении.

Почему? Потому что государство в модели Кейнса — это не спаситель рабочих. Это **спаситель капитализма от самого себя**. Оно приходит, когда капитализм задыхается в собственном жиру, и делает ему искусственное дыхание. Оно раздаёт пособия, чтобы не вспыхнул бунт. Оно строит дороги, чтобы фабрики не встали. Оно не отменяет прибыль. Оно лишь откладывает её изъятие на потом.

Итак, образ Кейнса в этой мрачной галерее экономических портретов — это образ умного управляющего на плантации рабов. Он не отменяет рабство. Он лишь даёт рабам больше риса, более прочные хижины, иногда выходной в честь дня рождения хозяина. И рабы, одурманенные этим улучшением, начинают верить, что они свободны. Что они — совладельцы плантации. Что их труд имеет смысл. А когда кто-то из них поднимает голову и спрашивает: «А можно ли нам вообще не работать?» — управляющий мягко, но твёрдо отвечает: «Нет, мой друг, это разрушило бы экономику. Иди копай яму. Или, если хочешь, иди на войну. Только не останавливайся».

Ибо главный закон Кейнсианства, который оно разделяет со всеми остальными школами, звучит так: **человек должен трудиться всегда**. Не для того, чтобы жить достойно, а для того, чтобы система не рухнула. И это — его приговор. Ибо если система не может существовать без его труда, а он не может существовать без её подачек — то кто здесь раб, а кто господин? Ответ очевиден. Просто мы привыкли не смотреть в эту сторону. Кейнс смотрел. И пока все смотрели в другую сторону, он сделал клетку более удобной, но не открыл дверцу. За что ему, безусловно, честь и хвала от всех тюремщиков мира.

Меркантилизм

И прежде чем мы двинемся дальше по этой галерее утончённых способов грабежа, мы обязаны остановиться у самого истока, у той первой школы экономической мысли, которая, по крайней мере, не лицемерила. О, если бы все последующие теории обладали его звериной честностью! Они были бы менее изощрённы, зато более чисты в своей подлости. Меркантилизм — это экономическая мысль ещё без очков и без Евангелия. Это мысль пирата, который сел за стол переговоров, но не выпустил абордажной сабли.

Меркантилизм даже не пытается скрывать, что экономика есть игра с нулевой суммой. Богатство страны измеряется не благами граждан, не свободным временем, не искусством или счастьем — а одной-единственной, осязаемой, холодной субстанцией: **золотом и серебром**. Вся логика мира подчинена этой металлической аксиоме: золота в мире столько-то, и если его больше у меня, то меньше у тебя. Торговля между государствами есть не что иное, как война, перенесённая из открытого моря в гавани и таможни. Прибыль одного — это убыток другого. Выигрыш одного — это проигрыш соседа. Никакого «взаимовыгодного обмена»; есть только временное перемирие, которое каждый из противников использует, чтобы перезарядить пушки.

Это, заметьте, не позднейшее изобретение марксистской критики. Это — **самосознание самого меркантилизма**. Они гордились этим. Они писали трактаты, доказывая, что благосостояние Англии возможно только за счёт нищеты Голландии, и что всякий флот, вышедший в море, должен либо привезти золото, либо сгореть. И в этом, как ни странно, есть нечто почти величественное — прямота, с которой эти купцы и министры признавали, что их богатство есть прямое следствие чужого разорения.

Но меркантилизм идёт еще дальше. Он не ограничивается грабежом соседей. Он обращает свой взор внутрь, на собственное население, и там творит ту же самую логику. Зарплаты рабочих должны быть низкими, очень низкими, почти нищенскими. Потому что дешёвый рабочий — это дешёвый экспорт. Чем меньше получает ткач, тем дешевле можно продать сукно в Лиссабоне или Гамбурге. И тем больше золота приплывёт обратно.

Это **осознанная политика**. Суровые законы о бродяжничестве, запреты на повышение оплаты, наказания за «тунеядство», принудительная работа для бедных — всё это не жестокость ради жестокости, а экономическая необходимость, понятая меркантилистским умом. Бедный должен оставаться бедным, ибо только так он становится полезным орудием в руках государства, собирающего золото. Если бы рабочие зажили хорошо — они бы стали меньше работать, больше тратить на себя, и экспорт потерял бы конкурентоспособность. Нищета населения есть не побочный эффект, а прямое условие богатства казны.

И какой же циничный, какой превосходный круговорот! Государство держит свой народ впроголодь, заставляет его горбатиться на фабриках с рассвета до заката, выпускает продукцию по бросовым ценам, вывозит её в колонии, выменивает на золото — и это золото становится мерилом национального могущества. Народ же, который это золото добыл своим потом, не видит ни гроша из него. Он видит только, что завтра опять нужно вставать к станку, потому что если он не встанет — его посадят в работный дом, где условия ещё хуже.

Но самым блистательным, самым чистым проявлением меркантилистской логики являются колонии. Здесь обнажается вся конструкция. Из колоний вывозят сырьё — хлопок, табак, сахар, золото, — платя за него гроши или просто забирая силой. В колонии ввозят готовые товары, произведённые в метрополии, по ценам, в три-пять раз превышающим себестоимость. Разница — чистая прибыль, чистое золото, перетекающее из кармана раба на плантации в карман судовладельца в Бристоле.

При этом колонизатор даже не считает нужным оправдываться. Он говорит: «Это естественный порядок вещей. Мы — цивилизованные, они — дикари. Мы несём им свет, они нам — золото». И тысячи томов были исписаны этой умильной философией, пока в трюмах кораблей задыхались от жажды люди, которых продали за бочку рома. Меркантилизм не придумал рабство, но он сделал его экономически рациональным. Он превратил человека в единицу учёта — наравне с мешком перца или слитком серебра.

И здесь мы подходим к тому, что меркантилизм отличает от всех последующих школ. **Меркантилизм открыто, не краснея, заявляет: всеобщее процветание есть вредное и опасное заблуждение.** Если все будут богаты — никто не захочет работать за гроши. Если все будут сыты — никто не поплывёт за золотом в Гвинею. Если все будут образованы — кто будет чистить выгребные ямы? Процветание всех — это утопия ленивцев и сентиментальных дураков. Реальный мир, настоящий мир — это мир, где одни командуют, а другие выбиваются из сил. И меркантилизм принимает это без ложной скромности.

Позднейшие школы спрятали эту правду за красивыми словами о «свободном рынке», «взаимной выгоде», «Парето-эффективности». Меркантилизм же смотрит на вас в упор и говорит: «Да, мы вас грабим. Да, мы держим рабочих в чёрном теле. Да, мы высасываем колонии. И именно поэтому у нас есть золото, а у вас — нет. И мы не собираемся извиняться. Нам не стыдно».

И в этом, повторяю, есть нечто, почти вызывающее уважение. Ибо лицемерие всегда отвратительнее, чем откровенное злодейство. Лев, который разрывает антилопу, не говорит ей: «Мы заключаем взаимовыгодную сделку». Он просто разрывает. Меркантилизм — это лев. Он не скрывает когтей. И если уж говорить об «обогащении за чужой счёт» — то меркантилизм даёт нам его каноническую, абсолютно прозрачную модель. Никакой метафизики, никакой прибавочной стоимости, никаких субъективных полезностей. Просто: «Мы берём. У вас. И это хорошо».

Честный читатель, я не призываю вас уважать меркантилизм. Но я призываю вас не презирать его сильнее, чем его более поздних, более гладких, более набожных преемников. Ибо те научились улыбаться, когда грабят. А этот хотя бы не улыбался. Он скалился. И в этом — его единственное, но несомненное отличие.

Физиократы

Эта школа, на первый взгляд кажется неожиданным союзником в борьбе с меркантилистским идолопоклонством золоту. Их вождь — Франсуа Кенэ. Эти господа воспевали землю, воспевали крестьянский труд, объявляли его единственным источником «чистого продукта» — и за это их иногда хвалят наивные люди, принимающие добрые слова за добрые дела. О, какая горькая насмешка! Ибо физиократы, подобно искусному врачу, который подробно описывает болезнь, но не прописывает лекарства, создали самую изящную, самую безжалостную схему узаконенного паразитизма, какую только знала экономическая мысль до появления монетаризма.

Кенэ, этот спокойный и методичный ум, делит общество на три части. Первая и единственная производительная — это **земледельческий класс**. Только он, утверждает физиократ, создаёт «чистый продукт» — то есть больше, чем потребляет. Только крестьянин добавляет к миру новую ценность, которой не было раньше. Вторая часть — **«бесплодный» класс**: ремесленники, торговцы, всякого рода переработчики и перепродавцы. Они, по Кенэ, не создают нового богатства, а лишь преобразуют материю, меняют её форму, перекалывают с места на место. Третья часть — **класс собственников**: король, церковь, дворяне, все те, кто владеет землёй по праву рождения или пожалования.

Что же следует из этого деления? А следует следующее, и тут я прошу читателя задержать дыхание: всё богатство, всё, что создано крестьянским потом, — изымается у крестьянина и перераспределяется через класс собственников к бесплодному классу. Ни крестьянин, ни даже «бесплодный» ремесленник не имеют права на этот излишек. Он весь, целиком, до последней крохи уходит тем, кто просто *владеет*. Это называется — «рента».

Кенэ создал своё знаменитое изобретение — «Экономическую таблицу». Внешне это сухая схема движения продуктов и денег между классами. Внутренне — это торжественное богослужение в честь паразитизма. Таблица показывает, как излишек, созданный крестьянином, перетекает в карман землевладельца, а землевладелец, благосклонно улыбаясь, тратит часть этого излишка на покупку безделушек у «бесплодного» ремесленника. Ремесленник получает свой кусок — ровно настолько, чтобы не умереть с голоду и завтра снова принять заказ. Крестьянин же получает только то, что осталось после того, как собственник и ремесленник насытились. А именно — ровно столько, чтобы воспроизвести себя и починить свой плуг.

И вся эта карусель, вся эта изящная машина, работает только при одном условии: **класс собственников существует и изымает излишек**. Если убрать собственников — таблица рассыплется. Деньги перестанут течь к ремесленникам, ремесленники перестанут покупать хлеб, крестьяне перестанут получать плату за ремесленные изделия, и всё встанет. Таким образом, физиократы прямым текстом, без всякой иронии, постулируют: **паразитизм есть структурная необходимость**. Без рантие, без бездельников, которые владеют землёй и живут на ренту, экономический кругооборот невозможен.

Это, заметьте, не критика, не ирония, не сарказм. Это позитивная теория. Кенэ с видом естествоиспытателя, препарирующего лягушку, показывает нам: вот сердце, которое качает кровь; вот лёгкие, которые дышат; вот пиявка, без которой организм задохнётся. И мы должны принять пиявку как продолжение нашего тела. О, какая высота цинизма! Она доступна только тем, кто сам сидит на месте пиявки.

Из этой теории со всей очевидностью следует одно: крестьянин не может и не должен процветать. Его удел — вечное воспроизводство. Он должен родиться, вырасти, вспахать поле, собрать урожай, отдать излишек собственнику, получить ровно столько зерна, чтобы не уме-

реть до следующего урожая, произвести детей, которые сделают то же самое, и умереть в той же хижине, где умер его отец. Всё. Иного не дано.

Любая попытка крестьянина стать богаче, любой лишний мешок зерна, оставленный им себе, нарушает кругооборот. Ибо если крестьянин накопит, он перестанет нуждаться в ремесленнике. Если перестанет нуждаться в ремесленнике, ремесленник обеднеет. Если ремесленник обеднеет, он перестанет покупать хлеб. Если он перестанет покупать хлеб, у крестьянина не будет денег купить новый плуг. И всё — цепочка рвётся. Поэтому крестьянин должен оставаться ровно настолько бедным, чтобы быть вынужденным продавать свой излишек, и ровно настолько сытым, чтобы не умереть до следующей продажи.

Эта теория, почтенный читатель, есть **апофеоз структурного насилия**. Здесь не нужно кнута, не нужно тюрьмы, не нужно даже угрозы. Достаточно одной только «таблицы» — и крестьянин, проникнувшись ей, сам, по доброй воле, отдаст всё, что создал, ибо ему скажут: «Так надо для кругооборота». Это как если бы овцам объяснили, что их стрижка необходима для здоровья пастуха, и овцы бы согласились, что здоровье пастуха ценнее их собственного.

Физиократы, будучи людьми своего времени, не задавались вопросом о справедливости. Для них рента — такой же естественный феномен, как дождь или ветер. Землевладелец получает ренту, потому что земля принадлежит ему. А принадлежит она ему, потому что так сложилось. А на самом деле, потому что когда-то его предок пришёл с мечом к незащитному и сказал: «Это моё». И его предок готов был убивать, а незащитный — нет. И с тех пор эта формула не пересматривалась. Кенэ этого не скрывает, но и не возмущается. Он просто описывает. И это описание, именно своей холодностью, своей бесстрастностью, становится страшнее любого обвинения.

Ибо если паразитизм является структурной необходимостью, то любая попытка его устранить объявляется не только глупой, но и преступной — ибо она разрушает «экономическую таблицу». Бедный, восставший против своего положения, оказывается не борцом за справедливость, а вредителем, который ломает сложный механизм всеобщего благосостояния. Как удобно! Как изящно! Кровосос написал учебник, в котором доказал, что без него кровь свернётся. И ученики, с благоговением глядя на схему, кивают головами: да, профессор, вы правы, без вас мы не можем. Кланяйтесь крестьяне, и расходитесь по полям. Ваша рента ждёт своего господина.

Таков физиократический идеал. И если меркантилизм был пиратом с абордажной саблей, то физиократия — это ростовщик в судейской мантии. Оба грабят. Но один делает это под звуки барабанов, а другой — под шелест страниц «экономического трактата».

Австрийская школа

Эта школа несомненно, является самой изощрённой, самой интеллектуально утончённой и оттого самой опасной из всех. Я говорю о Мизесе, о Хайеке, о тех, кто с неподражаемой страстью и блеском защищает идею, что рынок есть процесс, делающий всех богаче. О, как сладостно звучит эта музыка для ушей тех, кто хочет верить в справедливость существующего порядка! Никакой эксплуатации, никакого насилия, никакого прибавочного труда — только взаимовыгодный обмен, только свободные люди, только торжество разума. Но печаль тем, кто заглянет под изящную обёртку! Ибо там, в основании этой стройной теории, сидит всё та же старая, заскорузлая, неистребимая асимметрия, только теперь она спрятана не в собственности, не в капитале, а в самом драгоценном, что есть у человека: в его **незнании**.

Австрийцы, эти рыцари свободного рынка, объясняют нам: прибыль предпринимателя — это не грабёж, не присвоение чужого труда, а заслуженная награда за его «предпринимательскую бдительность». Что сие означает? А означает вот что: предприниматель обладает острым зрением, которого лишены остальные. Он замечает разницу в ценах там, где толпа видит только одну. Он покупает ресурсы там, где их недооценивают, и продаёт там, где их переоце-

нивают. Он соединяет разрозненные куски информации в единую картину и извлекает из этого прибыль.

Какая красивая картина! Предприниматель — как орёл, парящий над равниной невежества. А остальные — как стадо баранов, мирно щиплющих траву, не подозревающих, что их шерсть уже продана на бирже. Иными словами, **обогащение здесь происходит за счёт чужого незнания**. Предприниматель богатеет не потому, что он больше работает, не потому, что он приносит пользу обществу, а потому, что он знает то, чего не знают другие. Его прибыль — это налог на чужую глупость, на чужую неосведомлённость, на чужую лень ума.

И что же следует из этого? А следует то, что австрийцы, при всей своей прозорливости, предпочитают не видеть: **если бы все всё знали, прибыль была бы равна нулю**. Если бы каждый фермер точно знал будущую цену пшеницы, если бы каждый рабочий знал, где его труд оценят дороже, если бы каждый покупатель знал, где товар дешевле — не осталось бы ни одной ниши, в которую могла бы просочиться предпринимательская прибыль. Все цены мгновенно пришли бы в равновесие, и орёл остался бы без добычи.

Но это ещё полбеды. Беда в другом, и здесь австрийская теория обнажает свой дьявольский постулат. Если прибыль возникает из незнания, то для того, чтобы прибыль существовала, должно существовать незнание. Кто-то, где-то, всегда должен ошибаться, быть в неведении. И таких неведающих нужно постоянно плодить. Иначе — конец прибыли. Конец предпринимательства. Конец рынку в том виде, в каком его любят австрийцы.

Представьте себе, почтенный читатель, общество всеобщего знания. Общество, где каждый знает всё, что нужно знать для принятия оптимального решения. Рабочий знает, где его труд оценят выше всего. Капиталист знает, куда лучше вложить деньги. Покупатель знает, где товар дешевле, а продавец знает, где покупатель готов заплатить больше. В таком обществе — и австрийцы этого не отрицают — рынок не нужен. Вернее, он нужен, но только как технический распределительный механизм, не создающий никакой прибыли. Ибо любая сделка будет совершаться по цене, равной предельным издержкам, и никто не получит ни гроша сверх затраченного.

Но такое общество, по мысли австрийцев, либо невозможно, либо нежелательно (здесь можно дискутировать). Ибо оно уничтожает предпринимательскую активность. А без предпринимателей — нет прогресса. А без прогресса — нет цивилизации. Таким образом, **незнание оказывается не просто неизбежным злом, а необходимым благом**. Без него некому было бы обогащаться. А без обогащения — не было бы и развития. Круг замкнулся.

Задумайтесь теперь, какую удивительную идеологическую конструкцию воздвигли эти венские мыслители. Они сделали незнание **ресурсом**. Таким же ресурсом, как уголь, нефть или железная руда. И точно так же, как уголь должен добываться и сжигаться, так и незнание должно воспроизводиться. Кто-то должен быть недостаточно информирован и продавать свой труд дешевле, чем мог бы, если бы знал чуть больше. Эти «кто-то» — и есть топливо, на котором работает предпринимательская машина по обогащению.

Однако, в отличие от угля, незнание не лежит в земле. Оно живёт в головах людей. И чтобы оно там сохранялось, необходимо, чтобы эти люди не имели доступа к информации, либо не имели способности её обработать, либо были заняты борьбой за выживание настолько, что у них не остаётся времени на её поиск. Другими словами, **бедность, необразованность, занятость на тяжёлых работах, отсутствие досуга** — всё это не случайные недостатки системы, а её необходимые предпосылки.

Какой чудовищный вывод! Австрийская школа, которая постоянно проповедует индивидуальную ответственность, свободу выбора и неприкосновенность частной собственности, на деле строит свою теорию на фундаменте, который индивиду не подконтролен. Ибо незнание не всегда является результатом свободного выбора. Чаще всего — это результат бедности, отсутствия образования, врождённых ограничений, социального давления. А эти факторы —

не «индивидуальные предпочтения». Это структурные условия, которые индивидум не выбирал и которые не может изменить по своему желанию.

Таким образом, прибыль предпринимателя оказывается не наградой за его личную добродетель, а наживой на чужом несчастье.

Австрийская школа — безусловно, самая умная, самая элегантная, самая интеллектуально честная из всех, которые пытались оправдать неравенство. Она не врёт о «взаимной выгоде» в том смысле, в каком врут неоклассики. Она не скрывает, что прибыль возникает из асимметрии. Но она делает вид, что эта асимметрия — дело случая, везения, природной одарённости, а не структурного насилия. И это — её главный грех. Ибо, как я уже сказал в начале, дьявол кроется не в деньгах, не в прибыли, не в рынке. Дьявол кроется в тех, кто называет неизбежным то, что можно изменить, и называют благом то, от чего страдают миллионы. Австрийцы — не дьяволы. Но они — его лучшие адвокаты. И гонорар они получают, как и полагается адвокатам, от своих клиентов. Тех самых, которые благодарят их за красивые оправдания своего богатства.

Институционализм и Теория общественного выбора (Веблен, Бьюкенен)

И здесь мы подходим к школе, которая, наконец, проливает свет туда, куда другие экономисты предпочитали не заглядывать, — в тёмные закоулки власти, в зады государственных учреждений, в сырые подвалы бюрократии. Эти мыслители, в отличие от строителей воздушных замков классической школы, не верят в «невидимую руку», которая всё причешет и пригладит. Они верят в руку, вполне осязаемую, — руку, которая тянется к чужому карману, и она не невидима, а напротив, очень даже видима.

Торстейн Веблен, этот язвительный американец с душой старого европейского сатирика, ввёл в оборот понятие, за которое ему следовало бы поставить памятник при жизни — «праздничный класс». О, как точно, как убийственно точно! Ибо что есть богатство в глазах этих людей, которые владеют, но не трудятся? Они не могут, как древние воины, демонстрировать силу, ибо давно отвыкли от оружия. Они не могут, как монахи, демонстрировать святость, ибо их кошельки слишком тяжелы для небес. И что же им остаётся? Им остаётся одно: **завистническое потребление и демонстративная праздность**.

Что сие означает? А означает сие, почтенный читатель, что эти господа тратят деньги не потому, что им нужна та или иная вещь, и не потому, что вещь доставляет им удовольствие, а потому, что могут, и именно так, как то, что нищий не может тратить, доказывает их превосходство. Шуба из редкого зверя, автомобиль, на котором можно ездить разве что по лунному ландшафту, яхта, стоящая флота небольшой державы, — всё это не имеет иной цели, кроме одной: показать ближнему: «Смотри, я могу себе это позволить, а ты — нет». И ближний, этот вечный страдалец зависти, смотрит, и его бедная душа наполняется смесью восхищения и ненависти.

Но самое отвратительное здесь даже не трата денег. Самое отвратительное — это **демонстративная праздность**. Богатый должен публично, демонстративно, даже вызывающе быть свободен от труда. Он не должен работать. Ни в поле, ни в конторе, ни у станка. Ибо если он работает, он уподобляется низшим. А низшие — это те, кто трудится, потому что у них нет выбора. Итак, чем более человек бесполезен в практическом смысле, тем выше его статус. Его занятие — это ничегонеделание, возведённое в ранг искусства. Его ремесло — потребление. Его забота — демонстрация того, что он не трудится.

Веблен, этот гениальный насмешник, показывает нам: паразитизм не нуждается в оправданиях. Он сам себе цель, сам себе награда, сам себе доказательство собственной правоты. И если прежде паразиты оправдывались тем, что они «управляют», «принимают решения», «несут ответственность», то теперь они не должны утруждать себя даже этим. Они просто потребляют. И потребление есть их единственная судьба.

Веблен описывает рантье. Бьюкенен и Таллок идут дальше — они берутся за государство. И здесь, о ужас, они показывают то, что любой, кто имел несчастье иметь дело с чиновником, знал и так, но боялся высказать вслух: **политики и чиновники — не слуги народа, не добрые цари, не просвещённые администраторы. Они — максимизаторы собственной полезности.** То есть они хотят того же, чего и все прочие люди: больше денег, больше власти, больше спокойствия, меньше ответственности. Только у них для этого есть особый инструмент — бюрократический аппарат.

И что же следует из этой простой, почти тривиальной истины? А следует то, что государство не только не исправляет асимметрию рынка — **оно порождает асимметрию нового типа.** Рыночный капиталист эксплуатирует рабочего через собственность. Бюрократ эксплуатирует гражданина через право издать указ. Капиталист берёт прибавочную стоимость. Чиновник берёт взятку, или, в более утончённой форме, — **политическую ренту.**

Что такое политическая рента? Это доход, который получается не от производства полезных благ, а от самого факта обладания властью запрещать или разрешать. Если я, чиновник, могу выдать вам лицензию на торговлю, а могу и не выдать, — то вы, бедный торговец, будете готовы отдать мне часть вашей прибыли просто за то, чтобы я нажал нужную кнопку. Я ничего не создал, не произвёл, не перевёз. Я просто сидел в кресле и имел власть. И эта власть стоит денег. Это и есть политическая рента. Это и есть деградация нарядника, описанная в Томе I.

Теория общественного выбора, как вы уже догадываетесь, если читали Том I, далеко не исчерпывается взятками. Она показывает, что **любой регулирующий институт** — будь то государственный банк, лицензионная палата, санитарная инспекция или корпоративный совет — неизбежно, в силу природы человеческой воли, становится механизмом перекачки средств от одних групп к другим. Не потому, что чиновники злые, а потому, что так устроено: у них есть власть, а у других — потребность что-то получить или избежать наказания. И если эта потребность достаточно велика, власть будет монетизирована.

Представьте себе, что государство ввело квоты на импорт. Кто выиграл? Выиграл местный производитель, который теперь может продавать товар дороже. Но он платит за эту защиту — в виде налогов, пожертвований на избирательные кампании, а иногда и прямых откатов — тем, кто квоты установил. Кто проиграл? Проиграл потребитель, который покупает тот же товар по завышенной цене. И вот этот тонкий, почти невидимый поток денег — от потребителя к производителю, и от производителя к чиновнику — и есть политическая рента. Никто не произвёл ничего нового. Просто одни потеряли, другие приобрели. И это называется «государственное регулирование».

Бьюкенен и Таллок с беспощадной трезвостью показывают: нет никакой «общественной выгоды», отделённой от выгоды конкретных людей. Политик заботится о переизбрании, чиновник — о бюджете своего ведомства, лоббист — о предпочтениях для своего клиента. И когда все эти эгоизмы сталкиваются, рождается не «общее благо», а **равнодействующая групповых корыстей.** И эта равнодействующая почти никогда не совпадает с интересом тех, у кого нет ни лоббистов, ни бюджета, ни права вето.

Из всего сказанного следует вывод, который для всякого мыслящего человека должен быть очевиден, но которого экономисты упорно не желают признавать: **всеобщее благополучие через институты невозможно.** Ибо институты создаются людьми, а люди, как мы уже знаем, преследуют свои интересы. Более того, институты, которые были созданы для защиты от одной асимметрии, почти неизбежно порождают новую асимметрию, новую группу рантье, новый класс тех, кто живёт не производя.

Возьмите любой пример. Антимонопольное ведомство создаётся для борьбы с монополиями. Но кто работает в этом ведомстве? Люди, которые хотят карьеры, зарплаты, влияния. И они, рано или поздно, начнут использовать свою власть не только для наказания монополистов, но и для извлечения выгоды — через угрозу возбудить дело, через затягивание разреше-

ний, через «добровольные» пожертвования. Точно так же, как король, поставивший судью для защиты слабых, не может быть уверен, что судья не начнёт брать с сильных за то, чтобы не замечать их преступлений.

И вот здесь, почтенный читатель, мы возвращаемся к нашему главному тезису, который пронизывает всю эту книгу, как нить пронизывает чётки: **всякая теория, которая обещает всеобщее благополучие через обмен, перераспределение или регулирование, есть либо наивность, либо обман.** Ибо перераспределитель неизбежно становится новым эксплуататором. Регулятор неизбежно становится новым паразитом. И чем сложнее система институтов, тем больше рук тянется к общему пирогу, и тем меньше достаётся тем, кто этот пирог испёк.

Институционализм и теория общественного выбора, в отличие от многих других школ, по крайней мере **честно признают эту диалектику.** Они не говорят: «доверьтесь рынку», ибо рынок уже захвачен крупным капиталом. Они не говорят: «доверьтесь государству», ибо государство уже захвачено бюрократией. Они говорят: «смотрите в оба, ибо любая власть коррупирует, а любое право на принуждение превращается в право на поборы».

И в этом — их огромная заслуга. И в этом — их глубокое, неисцелимое отчаяние. Ибо если и рынок плох, и государство плохо, то что же остаётся? Остаётся, по сути, только одно — пребывание в этом убожестве с открытыми глазами, без иллюзий, но и без надежды. Ибо всякая надежда на спасение через новый институт есть лишь отсрочка разочарования. Как сказал один древний мудрец, что было, то и будет, и нет ничего нового под Луной. Новы только способы называть старые грехи добродетелями. А институционализм, по крайней мере, даёт нам словарь, чтобы называть их настоящими именами. А это уже немало. Ибо названный перестаёт быть невидимым. И это — первый шаг к тому, чтобы когда-нибудь, возможно, от него избавиться.

Неомарксизм и Теории зависимости (Франк, Валлерстайн): Мир-системный анализ

Мы подходим к той точке, где проблема, доселе казавшаяся уделом отдельных классов или отдельных наций, обретает подлинный, поистине планетарный масштаб. О, какое зрелище открывается тому, кто поднимется на эту высоту! Он видит не богатые и бедные страны, а **единую капиталистическую мир-систему**, где богатство одних есть прямая, неразрывная, органическая причина бедности других. И это уже не морализирующая жалоба, не крик обиженного, — это диагноз. Диагноз, который, как всякий хороший диагноз, не оставляет надежды на быстрое исцеление.

Начнём с самого главного, с самой еретической, с самой горькой мысли этой теории. Обыватель, раскрывая газету, видит две колонки. В одной — «развитые страны»: высокая зарплата, хорошие дороги, долгая жизнь. В другой — «развивающиеся страны»: нищета, антисанитария, короткий век. И обыватель, если он добр, вздыхает: «Бедные, как им повезло, что мы им помогаем». А если он зол, то говорит: «Самонадеянные лентяи, не могут как мы организоваться». Но и тот, и другой, и десятый, и сотый — все они делают одну и ту же ошибку: они полагают, что бедность Периферии есть её собственное свойство, а богатство Ядра — его естественная судьба.

Единая система, и место каждой страны в этой системе определяется не её внутренними качествами, а её функцией в целом. Функция Ядра — изобретать, управлять, потреблять. Функция Периферии — добывать сырьё, производить дешёвую продукцию, голодать. Функция Полупериферии — быть буфером, амортизатором, сосать с одной стороны и отдавать с другой. И эти функции не случайны, не исторически преходящи, не «преодолимы» по отдельности. Они — **структура системы.** Как в любом организме, сердце не может стать печенью, а печень — сердцем. Так и здесь: Бангладеш не может стать Швейцарией, а Гана — Германией, не раз-

рушив всей мир-системы. Ибо богатство Швейцарии и есть бедность Ганы, взятая в другом измерении.

«Развитие Ядра» и «отсталость Периферии» — это не две разные вещи, из которых одна хорошая, а другая плохая. Это две стороны одной и той же монеты. Когда Лондон строил свою биржу и свои банки, он не просто развивался сам по себе. Он одновременно, в том же самом историческом акте, *недоразвивал* Индию. Вывоз хлопка из Бомбея, завоз дешёвых тканей из Манчестера, разрушение местного ткачества, превращение миллионов крестьян в нищих батраков — это не «побочный эффект», это не «издержки роста». Это и **механизм**, которым Лондон становился Лондоном.

И точно так же сегодня: когда корпорация из Нью-Йорка размещает заказ на пошив футболок в Дакке, она не просто «пользуется преимуществами глобализации». Она воспроизводит структуру, в которой рабочий из Дакки получает доллар в день, а акционер из Нью-Йорка получает дивиденды, позволяющие ему жить в Коннектикуте и не знать, что такое мыть посуду своими руками. И это как бы не злой умысел. Это — **функция системы**. Система устроена так, что если бы рабочий из Дакки вдруг стал получать столько же, сколько рабочий из Коннектикута, — футболка стала бы стоить не десять, а пятьдесят долларов, её перестали бы покупать, заказ бы закрыли, и рабочий из Дакки вообще остался бы без доллара в день. Таким образом, **низкая зарплата Периферии есть условие существования всей системы, в которой высокая прибыль Ядра – системная необходимость.**

Обыватель, знакомый с историей, может возразить: «Но ведь Япония, Корея, отчасти Китай — они же поднялись из Периферии в Полупериферию, а то и в Ядро? Значит, возможно!» На это неомарксисты, и Валлерстайн в особенности, дают ответ, который для многих звучит как приговор: **да, возможно, но только для избранных, и только при условии, что на их место придёт кто-то ещё более бедный.** Ибо система — это пирамида. Ширина пирамиды — Периферия — должна быть намного больше высоты — Ядра. Если два-три государства поднимутся, они должны оставить после себя пустое место, которую заполняют другие, опустившиеся или вновь включённые. Китай поднялся? Да, но за счёт того, что Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш, Эфиопия стали ещё более дешёвыми. Ядро не расширяется; оно просто меняет состав своих сателлитов.

Более того, сам процесс «подъёма» возможен только в том случае, если поднимающаяся страна принимает правила игры, установленные Ядром: открывает рынки, принимает иностранные инвестиции, допускает репатриацию прибыли, соглашается на технологическую зависимость. Иными словами, она становится не полноценным членом клуба богатых, а всего лишь **привилегированным слугой**. У неё может быть чуть больше асфальта, чуть больше мобильных телефонов, чуть больше операций на сердце для тех, кто может себе это позволить. Но её экономика остаётся зависимой. Её технологический прогресс остаётся привозным. Её элита остаётся ориентированной на внешний мир. И как только этот внешний мир дёрнет за ниточку — кредит, санкции, технологический запрет, — вся эта красота может рассыпаться за один квартал. Примеров — десятки.

Рабочий из Ядра может жить хорошо — иметь дом, машину, телевизор, отпуск раз в году — но только потому, что где-то в мире есть ещё более поработённый, ещё более нищий, ещё более бесправный рабочий из Периферии. Его высокая зарплата — это не результат его высокой квалификации, не результат его тяжёлого труда, не результат справедливого распределения. Это результат того, что его хозяин получает сверхприбыль от эксплуатации вьетнамской швеи или конголезского горняка. И часть этой сверхприбыли, малая часть, перепадает ему, рабочему из Ядра, чтобы он не бунтовал, чтобы он считал себя средним классом, чтобы он голосовал за ту же партию, что и его хозяин.

Это, как вы понимаете, полностью переворачивает привычную мораль. Обычно мы думаем: богатые эксплуатируют бедных. А здесь выясняется, что **бедные из Ядра эксплуа-**

тируют бедных из Периферии — просто через посредство капитала. Американский сантехник, получающий пять тысяч долларов в месяц, не чувствует себя эксплуататором. Он чувствует себя честным тружеником. Но его пять тысяч — это не только плата за его умение чинить трубы. Это ещё и плата за то, что корпорация, владеющая его фирмой, имеет заводы в Гватемале, где рабочий получает пять долларов в день. Если бы этот завод закрылся и гватемалец стал получать пять тысяч, то сантехнику пришлось бы снизить свои требования, ибо прибыль корпорации упала бы. Но сантехник этого не знает. И если ему об этом сказать, он обидится. Ему не нравится думать о себе как о паразите, питающемся чужим потом. Но такова, увы, структура.

Завершая эту мрачную главу, я должен произнести самые горькие слова из всех, какие только можно сказать. Система, описанная неомарксистами, **не предполагает всеобщего подъёма до уровня Ядра**. Это не просто эмпирический факт, который когда-нибудь изменится, если поднажать. Это структурный закон. Если бы все страны вдруг стали Ядром, то не осталось бы никого, кто добывал бы сырьё за гроши, кто шил бы футболки за доллар в день, кто утилизировал бы токсичные отходы ценой своего здоровья. А без этого мир-система не может существовать, ибо богатство построено именно на такой асимметрии. Попытка сделать всех богатыми приводит к тому, что никто не станет бедным, а без бедных богатство теряет свой смысл — оно становится просто уровнем потребления, лишённым статусного различия.

Поэтому мир-система, как её видят Франк и Валлерстайн, есть **машина вечного воспроизводства неравенства**. Она может менять формы, перекраивать границы, возносить одни страны и низвергать другие. Но сама структура — Ядро, Полупериферия, Периферия — остаётся неизменной. Ибо иначе машина остановится. А капитализм не может остановиться. Его двигатель — это прибыль, а прибыль возникает из разницы. Уберите разницу — и двигатель заглохнет.

И здесь, почтенный читатель, мы видим всю глубину отчаяния, которую открывает эта теория. Маркс верил, что капитализм падёт под тяжестью своих внутренних противоречий. Валлерстайн не так оптимистичен. Он видит, что капитализм очень изобретателен: он перекладывает свои противоречия на Периферию, консервирует их там, воспроизводит в новых формах. И вместо одного глобального краха мы получаем бесконечную череду локальных катастроф — голод в Африке, войны на Ближнем Востоке, эпидемии в Южной Азии. Это не «сбои». Это **нормальная работа системы**.

Монетаризм (Милтон Фридман)

«Боль — это не побочный эффект лечения, это и есть лечение». Доктрина, ставшая основой глобальной экономической политики последних пятидесяти лет, есть, пожалуй, самое откровенное, самое безжалостное, самое теоретически обоснованное оправдание того, что я называю «обогащением за чужой счёт». Ибо предыдущие школы хотя бы стыдливо прикрывали свою эксплуатацию фиговыми листками «взаимной выгоды», «общей пользы» или «исторической необходимости». Монетаризм же срывает маску и заявляет: **да, мы приносим в жертву часть населения. Это правильно. Это научно. И иначе нельзя.**

В центре монетаристской теологии стоит фигура врага. Враг этот — **инфляция**. Голод, войны, неравенство, рабство миллионов — нет, всё это мелочи по сравнению с инфляцией. Инфляция, видите ли, разрушает сбережения, искажает сигналы рынка, мешает капиталистам планировать свои инвестиции. А главное — инфляция бьёт по тем, кто живёт на фиксированный доход: по пенсионерам, по рантье, по всем, кто не может переложить растущие цены на плечи другого. Инфляция — это, по Фридману, «налог на наличные деньги».

Какая трогательная забота о рантье! Какая глубокая тревога за сбережения тех, у кого они есть! Но позвольте, почтенный читатель, задать один простой вопрос. А что же с теми, у кого нет сбережений? У кого нет пенсии? У кого нет ничего, кроме двух рук и спины, которые они сдают в аренду за почасовую плату? Для них инфляция — это, конечно, зло, но зло

не главное. Главное для них — иметь работу. Иметь возможность продать свою усталость за деньги, на которые можно купить хлеб. И именно здесь монетаризм наносит свой главный, свой сокрушительный удар.

Фридман, этот гениальный и безжалостный логик, ввёл в оборот понятие, которое должно было бы вызвать у всякого мыслящего человека содрогание, но вызвало лишь почти-тельное кивание академических голов: **NAIRU** — не ускоряющем инфляцию уровне безработицы. Что сие означает на простом, человеческом языке? А означает сие следующее: существует некий процент безработных (обычно, по расчётам, от 4 до 6% трудоспособного населения), который является **естественным**, то есть нормальным, то есть желательным. Если безработица падает ниже этого уровня, то рабочие начинают требовать повышения зарплаты, ибо их становится недостаточно и они чувствуют свою востребованность, что придает им силы. А повышение зарплаты ведёт к росту издержек, а рост издержек ведёт к росту цен, а рост цен — к гиперинфляции, а гиперинфляция — к экономическому кризису. Вывод: **чтобы спасти всех, нужно, чтобы некоторые сидели без работы.**

Вы уловили, читатель? Это не «побочный эффект» и не «издержки роста». Это **прямая, теоретически обоснованная жертва**. Четыре-шесть процентов населения должны быть безработными. Не должны найти работу. Не должны прокормить детей. Не должны чувствовать себя людьми. Они — **топливо**, на котором работает стабильность. Они — **смазка**, без которой механизм перегреется. Их нищета — не случайность, не брак системы, а её **необходимое условие**.

Если бы они вдруг все нашли работу, то начали бы диктовать условия, зарплаты поползли бы вверх, прибыль капиталиста сжалась бы, инвестиции упали бы, и все бы обеднели. Капиталисты бы обеднели и вынуждены были бы уволить часть рабочих. Все вернулось бы на круги своя. Тогда зачем все было?

Из этой доктрины следует ещё один, ещё более циничный вывод. Если государство, движимое состраданием или политическим расчётом, попытается снизить безработицу ниже «естественного уровня» — через общественные работы, субсидии занятости, стимулирование спроса, — то оно, по Фридману, совершит не просто ошибку, а **преступление**. Ибо такое стимулирование даст лишь временный эффект, а затем — ускорение инфляции, бегство от денег, крах сбережений, и в итоге все станут ещё беднее, включая тех, кому хотели помочь. Золотое правило монетаризма: **не вмешивайся**. Дай рынку самоочиститься. Пусть безработица достигнет своего «естественного» уровня — даже если для этого придётся уволить ещё несколько миллионов. Это — лекарство. Оно горькое, но спасительное.

Представьте себе врача, который говорит пациенту: «У вас жар. Чтобы его сбить, я должен отрубить вам ногу. Ибо жар опаснее, чем отсутствие ноги». Пациент, естественно, побежит к другому врачу. Но в экономике пациент — всё общество — некуда бежать. У него нет другого врача.

Монетаризм стал господствующей доктриной. И вот уже сорок лет, с эпохи Рейгана и Тэтчер, миллионы людей в даже развитых странах теряют работу, теряют дома, теряют надежду — и им говорят: «Это необходимо для стабильности. Инфляция была бы хуже. Потерпите». И они терпят. Ибо у них нет выбора.

Зададимся теперь самым неприличным, самым неудобным вопросом. Кто именно составляет эти «естественные» 4-6% безработных? Может быть, это богатые, которые могут позволить себе бездельничать? Может быть, это профессора экономики? О нет, читатель. Вы и сами знаете ответ. Это — самые слабые, самые уязвимые, самые плохо защищённые. Молодёжь без опыта. Старики, которых вытеснили из профессии. Люди с ограниченными возможностями. Беженцы. Те, у кого нет связей и нет местного образования, которые могли бы конкурировать на рынке труда на равных. Именно они попадают в эту статистику. Именно их безработица является «стабилизатором».

Подумайте об этом. **Их голод, их отчаяние, их унижение — это плата за то, чтобы цены на хлеб не росли слишком быстро.** Их неспособность купить лекарства для детей — это плата за то, чтобы владелец облигаций не потерял часть своих процентов. Их унылое сидение у экрана телевизора, пока другие работают, — это плата за то, чтобы биржа не лихорадило. Они — жертва. Они — невинная жертва, принесённая на алтарь «макроэкономической стабильности». И монетаризм, эта холодная, математически выверенная доктрина, объявляет эту жертву не только неизбежной, но и **желательной**.

Я должен, хотя это и горько, отдать Фридману должное. Он, в отличие от многих своих эпигонов, не лицемерил. Он прямо говорил: да, безработица нужна. Да, от неё страдают реальные люди. Но альтернатива — гиперинфляция, при которой пострадают все, включая бедных. Он выбирал, как ему казалось, меньшее зло — так, по крайней мере, он думал. И в этом была своя, жестокая, но логика. Беда не в Фридмане. Беда в том, что его теория стала оправданием для политиков, которым было удобно ничего не делать. «Естественный уровень безработицы» — какое красивое словосочетание! Естественный — значит природный, значит неизбежный, значит не требующий вмешательства. Можно сидеть сложа руки, смотреть, как люди теряют работу, и повторять: «Это естественно. Инфляция была бы хуже».

Но позвольте, читатель, задать вопрос. А что, если «естественный уровень безработицы» — это не закон природы, а закон политики? Что, если 4-6% безработных нужны не экономике, а капиталистам — как резервная армия труда, как пугало, как вечное напоминание тем, кто работает: «Вы легко заменимы, не зазнавайтесь»? Что, если эта теория есть не нейтральное научное описание, а **оружие классовой борьбы**, обёрнутое в формулы и графики? Тогда вся красивая конструкция монетаризма рухнет. И остаётся одна голая, неприкрытая истина: **одни должны страдать, чтобы другие могли не беспокоиться о своём богатстве**. Вот она, плата за стабильность. Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у владельца акций был спокойный сон. И эта цена — человеческие жизни. Раздавленные, сломанные, забытые. Но зато без инфляции. Какое утешение. Какое грандиозное, какое божественное утешение для тех, кто сидит на шее у других. А для тех, кто под ними... для них у монетаризма нет слов. Есть только цифры. 4-6%. Естественный уровень.

Экономика дара и антропология (Мосс, Поланьи)

Здесь, почтенный читатель, мы совершим путешествие, которое иные сочтут экскурсом в экзотику, но которое на деле есть самое прямое продолжение нашего печального анамнеза. Мы оставим на время биржи, банки, фабрики и прочие порождения новой истории и обратим взор туда, где, как полагают наивные люди, эксплуатации ещё нет — в архаические общества, в мир даров, потлачей и церемониальных обменов. Антропологи, эти отважные путешественники в дебри человеческой дикости, принесли оттуда известие, которое поначалу показалось отрадным: оказывается, люди могут обмениваться без денег, без цен, без торга, без того, что мы привыкли называть «экономикой». Они дарят. И принимают дары. И, казалось бы, нет здесь ни купли-продажи, ни эксплуатации, ни обогащения за чужой счёт. Какое блаженное зрелище! Неужели здесь, наконец, мы нашли уголок земли, где проклятый червь корысти не точит ствол человеческих отношений? Увы. Как сказал поэт, «и в раю не без уroda». И в этом раю взаимного дарения сидит, притаившись, всё тот же старый, знакомый нам паразит. Только теперь он называется не «капиталист» и не «землевладелец», а просто — «вождь», раздающий дары.

Марсель Мосс, этот гениальный француз, первым систематически описал то, что туземцы знали всегда, а европейцы предпочитали не замечать: **дар не есть безвозмездная передача вещи**. Дар есть создание долга. Когда я дарю тебе топор, я не просто отдаю тебе кусок железа и дерева. Я налагаю на тебя обязательство. Ты теперь должен мне. И чем щедрее дар, чем больше его ценность, тем тяжелее долг. А если дар столь велик, что ты никогда не сможешь вернуть его равноценно — то ты становишься моим должником на всю жизнь. А пожизненный должник есть не кто иной, как **раб**, только без кандалов.

Обратите внимание на эту диалектику, достойную Гегеля. Дар, который на первый взгляд кажется жестом щедрости, на деле есть **жест господства**. Тот, кто дарит, возвышается. Тот, кто принимает, унижается — если не может ответить тем же. А если может — то начинается соревнование даров, которое антропологи называли **потлачем**. Два вождя соревнуются: кто больше раздаст, кто больше уничтожит ценного имущества на глазах у толпы, кто щедрее одарит соперника, поставив его в положение неоплатного должника. И побеждает тот, чей дар был последним, самым большим, самым разорительным для самого себя. Парадокс, достойный Шопенгауэра: **ты богат не тем, что имеешь, а тем, что можешь раздать**. Ибо раздавая, ты приобретаешь власть. Раздавая, ты связываешь других. Раздавая, ты становишься центром, вокруг которого вращаются все остальные, опутанные паутиной твоей щедрости.

Пьер Бурдьё, этот поздний продолжатель традиции, назвал то, что создаётся дарами, **символическим капиталом**. Это престиж, честь, уважение, репутация, способность влиять на других без принуждения. И этот символический капитал, как мы теперь видим, может быть даже более эффективным инструментом порабощения, чем капитал экономический. Ибо экономический капитал ты можешь видеть, можешь оспорить, можешь попытаться отнять. Символический же капитал невидим, он живёт в головах людей, в их обычаях, в их ожиданиях. И против него нет оружия, кроме собственного презрения к общественному мнению, а это дано немногим.

Представьте себе вождя, который на празднике раздал соплеменникам сотни даров: рыбу, циновки, раковины, даже жен. Он теперь — щедрейший. Он — столп общины. Он — тот, без кого никто не может обойтись. И если кто-то из получивших дар вздумает ослушаться вождя, ему тут же напомнят: «А помнишь, как он дал тебе ту раковину?» И бедный должник опускает глаза. Он не может отказать. Он не может восстать. Он связан. Связан дарами, которые принял. Связан благодарностью, которая превратилась в обязанность.

Многие утописты, разочарованные капитализмом, предлагали вернуться к «экономике дара». Они видели в ней альтернативу — тёплую, человечную, свободную от торгашества и алчности. Ах, если бы мы отменили деньги, отменили прибыль, отменили эксплуатацию, и стали бы дарить друг другу — какой рай наступил бы на земле!

Они заблуждаются. Глубоко и опасно заблуждаются. Ибо экономика дара, как её описывают Мосс и Поланьи, есть **не свобода от порабощения, а порабощение старого типа**. Порабощение, которое не нуждается в тюрьмах и надзирателях. Порабощение, которое встроено в саму ткань социальных отношений. Через славу дарителя. Через невозможность сказать «нет» тому, кто однажды тебя одарил, потому что он тебя поощряет.

В рыночной экономике, при всей её мерзости, у тебя есть хотя бы формальная свобода: ты можешь не продавать свой труд, если цена низка. Ты можешь искать другого покупателя. Ты можешь, наконец, уйти в лес и питаться кореньями, если уж совсем худо. В экономике дара у тебя нет и этого. Ибо обычай, традиция, публичное мнение, стыд прослыть неблагодарным — всё это работает против тебя. Ты должен отдарить, даже если у тебя ничего нет. Ты должен участвовать в потлаче, даже если это разорит твою семью. Ты должен признавать авторитет вождя, даже если он не сделал для тебя ничего, кроме того, что однажды бросил тебе сушёную рыбу. Это — **рабство, улыбающееся улыбкой благодарности**. Все как и свойственно упадочной третьей экономике из Тома I.

И здесь я должен сделать признание, которое для многих прозвучит как приговор. Экономика дара — это экономика, которая действительно существовала в истории и существует до сих пор. Социализм? Утопия, никогда не реализованная в чистом виде. Коммунизм? Сказка для взрослых. А экономика дара — реальность. Реальность, в которой нет денег, нет купли-продажи, нет капитала в нашем смысле. Но есть — внимание! — есть **господство**. Есть **иерархия**. Есть **принуждение**, только мягкое, только улыбчивое, только через дар. И тот, кто предлагает вернуться к такой экономике как к альтернативе капитализму, предлагает не

рай, а **патриархальную клетку третьей экономики**, где одни раздают/поощряют, а другие благодарят/славят. И так — из поколения в поколение.

Подумайте об этом, читатель. Многие думают, что то, что мы знаем из истории и этнографии, говорит об одном: человек так устроен, что он не может жить без асимметрии. Если нет рынка, будет дар. Если нет денег, будет статус. Если нет капитала, будет престиж. И в каждом случае кто-то окажется наверху, кто-то внизу. И каждый раз верхний будет жить за счёт нижнего — только способ изъятия будет разным. Капиталист берёт прибыль. Вождь берёт лояльность и службу. Но суть одна: **один не работает, а другой работает на него**. И это, видимо, есть не экономическая случайность, а антропологическая константа. Печальная, как сама жизнь.

Многие, прочитав Мосса, могут возразить: «Но ведь есть и бескорыстные дары! Мать дарит ребёнку игрушку без всякой мысли о долге. Друг угощает друга пивом просто так. Разве это порабощение?» О, наивный читатель! Не в нашем ли обществе тот, кто пытается дарить «просто так», будет либо осмеян, либо разорён, либо, что вероятнее всего, просто не понят.

Ибо в мире дара, как и в мире рынка, действует закон: **ты платишь, чтобы получить власть**. Только платёж там не монетой, а дарами. И власть там не над вещами, а над людьми. Но это не меняет сути. Это всего лишь другой язык, на котором говорят о том же самом. И горе тому, кто не выучит этот язык. Он останется должником на всю жизнь. А должник, как сказано выше, — это раб.

Итак, подведём итог. Экономика дара, этот архаический предшественник капитализма, отнюдь не является царством свободы и равенства. Она есть **систематизированное порабощение через обязательство**. И это — самый изощрённый, самый трудноразличимый, самый «нравственный» способ заставить другого работать на тебя. Ибо против благодарности нет оружия. Кроме неблагодарности. А неблагодарность — это единственный грех, который не прощают ни боги, ни люди. Так что выбор невелик: быть рабом рынка, рабом земли, рабом копья или рабом дара. Рабом всё равно быть. Вопрос только в том, какую цепь ты предпочитаешь — железную, шёлковую или сделанную из раковин каури. Я, признаться, не вижу большой разницы. А вы?

Таким образом, переберите все известные школы — от меркантилистов, открыто заявлявших, что богатство одного народа есть разорение другого, до монетаристов, утверждающих, что естественный уровень безработицы необходим для стабильности. Везде вы найдёте одну и ту же подлую структуру: *одни живут, потому что другие работают и недоедают*.

Случались ли попытки создать иную теорию? Да, и они именуются утопиями: анархокоммунизм Кропоткина, дистрибутизм Честертона, экономика дара. Но — и здесь я прошу читателя обратить особенное внимание — ни одна из них не была *экономической теорией* в строгом смысле.

Ибо экономическая теория, чтобы быть научной теорией, как это определяет гуманитарный метод, должна иметь предмет и метод, который в принципе доступен всем. А какие предметы и методы у перечисленных теорий? Предмет — богатство, метод — за чуждой счет. Очевидно, что ни предмет, ни метод всем в принципе не доступны, более того в самих «теориях» постулируется, что и не должны быть всем доступны. Из чего немедленно следует, что ни одна из них не является научной теорией.

Утопии же рисуют мир, где вдруг всего становится достаточно, а человек вдруг перестаёт быть волком для человека. Они суть не экономика, а этика, переодетая в костюм бухгалтера. И потому они не способны конкурировать с реальной подлостью жизни.

Итог же нашего рассмотрения таков: *экономическая наука, как она существует, есть не что иное, как «научно» обоснованный рецепт того, как меньшинству богатеть за счёт большинства, причём большинство сие соглашается с собственной участью лишь потому,*

что альтернативой является ещё более скорая смерть. Всякий, кто утверждает обратное, либо обманывает себя, либо намеренно лжёт.

Честный ум может извлечь из этого лишь одно утешение: презрение к системе, которая, как и всякий продукт человеческой воли, обречена вечно пожирать саму себя. А вера в то, что существует «честная экономика», где все процветают без чужого ущерба, — это такая же глупость, как вера в вечный двигатель. В мире, где царят пространство, время и причинность, один всегда отнимает у другого. И точка.

И теперь, когда мы со скрупулёзной тщательностью обошли все этажи этого мрачного здания, которое человечество с гордостью именует «экономической наукой», когда мы заглянули в каждую его комнату, от пыльных чердаков меркантилизма до стерильных лабораторий монетаризма, когда мы слышали голоса всех пророков — от Кенэ до Фридмана, от Веблена до Валлерстайна, — теперь мы должны сделать последний, самый горький, самый неумолимый вывод. И вывод этот, прошу вас приготовиться, не экономический и даже не идеологический. Ибо мы видели, как левые и правые, либералы и социалисты, сторонники рынка и сторонники государства — все они, при всех их различиях, так и не смогли перешагнуть через одну и ту же черту. Везде — одни вверху, другие внизу. Везде — одни живут за счёт других. Везде — одни трудятся, другие присваивают. Везде — кто-то работает, кто-то получает. И нет ни одной теории, ни одного проверенного практикой способа вырваться из этого круга. Есть лишь попытки сделать клетку более просторной, корм более питательным, цепи более длинными. Но клетка остаётся клеткой.

Привыкший к горькой правде, человек с трудом поверит, что где-то существует светлое пятно на этом мрачном полотне. И всё же я беру на себя смелость утверждать: такое пятно есть. И имя ему — **Гуманитарная экономика**, начала которой изложены в первом томе труда, озаглавленного «Экономический субъект», и которая, если я не ошибаюсь (а я редко ошибаюсь в таких вещах), заслуживает того, чтобы быть названной **первой** — подчеркиваю, первой — экономической теорией, описывающей реальное, а не утопическое, процветание без обогащения за чужой счёт.

Читатель, не спешите закрывать эту страницу и не бросайте книгу в угол с возгласом: «Опять обещают рай за углом!» Ибо Гуманитарная экономика отличается от всех своих предшественниц именно тем, что она не обещает. Она **описывает**. И описывает она не то, что будет в далёком светлом будущем, после революции, после победы справедливости, после того, как все люди станут добрыми и умными. Нет. Она описывает то, что **уже было**, то, что **может быть сегодня**, и то, что **логически вытекает** из самой природы экономического субъекта, если этот субъект, наконец, перестанет путать культуру с упадком, а норму — с отклонением.

Обычный экономист, вскормленный на классической или неоклассической диете, убеждён, что прошлое было царством нищеты, суеверий и неэффективности. Он смотрит на архаические общества и видит лишь «традиционную экономику», которую надо срочно модернизировать. Он смотрит на аграрные цивилизации и видит лишь «феодалную отсталость». Гуманитарная экономика, вооружённая своей типологией экономических эпох и своим критерием совершенной экономической эффективности, смотрит на те же самые общества и видит нечто принципиально иное: она видит **процветающие экономики**, основанные на иных, но отнюдь не примитивных, отношениях.

Что такое первая экономика — это экономика простых запасов и соборности. Это не «дикость». Это общество, где основная экономическая задача решена: запасов достаточно для культурного удовлетворения потребностей. Люди собираются вместе, собирают дары природы и вместе же их потребляют. Нет эксплуатации, ибо нет тех, кто владеет, и тех, кто не владеет. Нет обогащения за чужой счёт, ибо каждый получает по потребности, а потребности соборно удовлетворены. И это не утопия — это **исторический факт**, засвидетельствованный этно-

графией и антропологией для тех обществ, которые не впали ещё в упадок и не поддались соблазну отчуждения.

Что такое вторая экономика — это экономика природных скоплений и нарядов. Это не «варварство». Это общество, где разведка запасов, образующих скопления, организована так, что каждый получает наряд и учитывается исчерпание запаса. Нарядник — не господин, не эксплуататор, а **учётчик**, функция которого — раздавать наряды и следить за исполнением. И пока экономика процветает, пока эффективность растёт, никакой дани, отданной чужакам, никакого господства, никакого захвата чужих запасов нет. И это тоже — исторический факт, описанный летописями и археологией для тех обществ, которые успешно прошли эту эпоху, прежде чем упадок принёс с собой банды и чужаков.

Что такое третья экономика — это экономика самовозрастающих запасов и обряда поощрения. Это не «религиозное суеверие». Это общество, где люди нашли способ заставлять природу работать на себя, возвращая ей часть продукта и благодаря её силы за прибавку. И, о чудо, это работает! Урожай самовозрастает, стада множатся, люди сыты. И в процветании третьей экономики нет места ни господам, ни рабам; есть лишь соборный обряд, в котором каждый участник имеет равный статус. Да, потом, в упадке, обряд выродится в ритуал, а поощрение — в славу. Но это — **отклонение от процветания**, а не само процветание. И Гуманитарная экономика, в отличие от всех прочих, умеет отличать здоровье от болезни. Она не принимает патологию за норму. И в этом — её первое, и уже огромное, преимущество.

Но Гуманитарная экономика не ограничивается архивными изысканиями. Она даёт нам **инструмент**, работающий здесь и сейчас. Инструмент этот — **совершенная экономическая эффективность**, то есть отношение времени потребления запасов к математическому ожиданию времени их образования. Не заумная формула, а живой критерий, который каждый может осмыслить, если у него есть хотя бы капля терпения и честности.

Пока это отношение больше единицы — экономика существует и может процветать. Пока оно растёт — экономическая деятельность успешна. Когда оно падает — начинается упадок, ведущий к отклонениям: к дани, к господству, к деньгам, к капитализму, ко всем тем формам обогащения за чужой счёт, которые мы так подробно и с таким отвращением описали. Гуманитарная экономика не говорит: «Будьте добрыми, и всё наладится». Она говорит: «Измерьте эффективность. Если она растёт — вы на верном пути. Если падает — ищите отклонение, возвращайтесь к культурной норме, восстанавливайте соборность, наряд, обряд — в зависимости от эпохи».

И этот совет, заметьте, не моральный. Он **практический**. Он не требует от капиталиста самоубийства, от рабочего — героического терпения. Он требует только одного: трезвости. Трезвости, чтобы увидеть, что если эффективность падает, то никакие деньги, никакие кредиты, никакие «стимулирования спроса» не помогут в долгую. И что, наоборот, если эффективность растёт, то можно обойтись без грабежа, без дани, без эксплуатации — просто потому, что все и так будут иметь достаточно, если не больше. И это не утопическая мечта — это **требование логики**, поставленной на службу экономике. И горе тем, кто это требование игнорирует. Их ждёт упадок. И они его уже имеют. Смотрите вокруг.

И наконец, самое важное, самое обнадёживающее (если слово «обнадёживающее» вообще уместно в книге, написанной столь мрачным пером). Гуманитарная экономика не ограничивается прошлым и настоящим. Она простирает свой взгляд в будущее — и видит там **пятую и шестую** экономики (Том III). И эти экономики не отменяют логику процветания, а **продолжают её**.

Подведём итог, ибо время коротко, а истина — длинна.

Все другие экономические теории, как мы с неумолимой ясностью показали, описывают либо эксплуатацию (и тогда они циничны), либо пытаются её отрицать, прикрываясь «взаимной выгодой» или «Парето-оптимумом» (и тогда они лицемерны), либо обещают её исчезно-

вание в далёком и неопределённом будущем (и тогда они утопичны). Гуманитарная экономика не делает ни того, ни другого, ни третьего.

Она **описывает** процветание без эксплуатации как реально существовавшее, как возможное сегодня и как логически необходимое завтра. Она даёт **критерий** (эффективность), позволяющий отличить процветание от упадка. Она предлагает **инструменты** (восстановление соборности, наряда, обряда, присяги, согласования алгоритмов), работающие на каждой стадии. И — самое главное — она не требует от человека быть ангелом. Она требует от него лишь одного: **следовать логике**, которая совпадает с логикой справедливости. Ибо когда эффективность растёт, эксплуатация становится не только аморальной, но и **бесполезной**. Она перестаёт быть нужной даже для обогащения. И тогда обогащение за чужой счёт исчезает не потому, что люди стали хорошими, а потому, что оно **перестало быть эффективным**. А то, что неэффективно, в долгой перспективе не выживает. Так учит нас природа. Так учит нас Гуманитарная экономика.

Поэтому, с полным основанием, я, подписавшийся под этими строками, утверждаю: **«Гуманитарная экономика» есть первая и, быть может, единственная на сегодняшний день экономическая теория, описывающая реальное процветание без обогащения за чужой счёт**. И если читатель, закрыв эту книгу, всё ещё будет сомневаться, я не стану его убеждать. Ибо истина, как и алмаз, не требует подтверждения — она просто сверкает.

Часть III. Современная экономика

Введение

Четвертая ситуация процветающей экономики поощрения (третьей) — это ситуация, когда не гарантировано ни создание запасов, ни их потребление. В процветании это означает поиск, колебания времени, но не голод.

В *упадке* третьей экономики самовозрастающих запасов эта же ситуация порождает *раба*.

Труд раба бесславен. Почему? Потому что *некчем*, у него *ничего не самовозрастает* (крокодил не ловится, не растет кокос). Он бесславен потому, что *не свободен*. А несвободный труд — это труд, который требует постоянной внешней подгонки.

Свободный человек трудится сам. Раба нужно *поощрять*. Постоянно. Каждый раз заново. Кнутом или пряником. Риторикой или угрозой. Он не может сам себя привести в движение. Его воля не принадлежит ему.

Платон это описал точно. В его государствах раб — это тот, кто не способен к самодвижению в труде. Его нужно *паст*.

Рабство в том виде, в котором мы его знаем — не из первой экономики (там все соборны), не из второй (там наряд).

Рабство как явление рождается только в **вырождающейся третьей экономике**.

В вырождении происходит подмена. Обряд поощрения переносится с природы на *человека*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.